

ПРЕДИСЛОВИЕ

Привет, все!

Все, кто возьмет в руки мою книгу. Она у меня кровная, она у меня выношенная, долгие два года я писала все эти истории. Какие-то из них случились со мной. А какие-то — нет. Это я о том, что не все мои рассказы автобиографичны (эта фраза специально для членов моей семьи). Но все они написаны от первого лица, потому что я пропустила через себя каждую историю. Я не могу по-другому. Такая уж у меня душа. Я даже историю великой инквизиции (которая точно со мной не случилась, слава богу) рассказываю от первого лица. Как будто это я — ведьма, и священники ведут меня на костер. И солнце светит, и я понимаю, что это последние мои мгновения. И вдали в небе промелькнула стая ворон. Чуют, что скоро поедят человеческого мяса.

Толпа стоит передо мной. Разные люди, глуховатый старик, который все время переспрашивает соседа, а тот устал уже ему повторять одно и то же. Босой мальчик с мамой. Мама надеялась, что в толпе, которая пришла на казнь, продаст хлеба и заработает немного денег. Но, похоже, что ей это не удастся, зрители слишком захвачены грядущим событием. И никому нет до нее дела. А мальчик стоит босой, и я жалею, что моя

Жанар Кусаинова

обувь не достанется ему. Я все равно сегодня сторю, а обувка пригодилась бы пацаненку.

Ой, простите, я отвлеклась. Вечно я так.

О чем моя книга?

О том, что быть живым трудно, быть живым больно, но нет ничего прекраснее, чем быть живым.

И даже если все, что остается тебе в жизни,— это смотреть на то, как сияют на солнце иссиня-черные крылья ворон, которые слетелись на твою погибель. Смотреть на них и удивляться, насколько красивыми могут быть создания Бога. И радоваться тому, что в тебе нет гнева и злобы, что уходишь из мира чистым, без лишнего груза.

И это солнце, и этот ветер, и эти люди. Счастье в каждой капельке воздуха.

ДЫШАТЬ! ДЫШАТЬ! ДЫШАТЬ!

Есть старая шутка: «Жизнь протекает быстро, как простуда, не успел чихнуть, а уже — всё».

В моем детстве был пожилой туркмен. Он любил повторять: жизнь коротка, воды темны, и надо успеть украсить хотя бы эти мгновения.

И напоследок, посвящаю книгу моей семье, дочери Гульке, Вадиму Леванову (я бы хотела тебе рассказать кое-что из написанного, и новые тексты тоже), Игорю и всем моим друзьям, а также Юрию Клепикову (моему учителю) и Фрижетте Гукасян.

Быть живым здорово.

Жизнь сильнее смерти.

Мой папа курит только «Беломор»

Мой папа курит только «Беломор». Привычка, многолетняя. Как я люблю этот запах, он меня успокаивает, и, как маленький рыцарь, защищающий меня от всяких бед, пачка «Беломора» всегда в моем кармане или сумке.

Без нее никуда не выхожу. Неприкосновенное, святое, неразменное. Это для папы, хотя мы с ним живем в разных городах и странах.

И все равно, что мы — чужие люди, у него — полжизни в тюрьмах, он вор в законе, авторитет, а у меня — все детство в интернате, он считает мои рассказы глупостью. И все, что делаю, — ерундой. Что за профессия такая — драматург?! И какая из тебя писательница?! Читал, ничего не понял! Скучно!

Когда мы вместе, то ругаемся, орем друг на друга, упреки-обиды (ты никогда, а ты всегда, ты опять, ты не можешь по-человечески, никогда тебя не прощу, как же я тебя ненавижу), а то и молчим тяжело — нам не о чем говорить.

Мы почти никогда не звоним друг другу, мы не поздравляем друг друга с праздниками, мы не пишем писем, не шлем посылок...

Мы чужие люди...

Но все равно каждый мой месяц начинается с того, что я покупаю пачку «Беломора» (это для него, это для меня...).

А потом, когда бывает грустно, или больно, или радостно, достаю, глажу, вдыхаю запах, родной, знакомый с детства, и появляется чувство, что папа рядом, он защитит, и все будет хорошо. А если и так все хорошо, то отец, конечно, разделяет мои радости, мы ведь друг другу...

А в конце месяца отдаю пачку нищему на углу. Так надо.

Нищие уже знают меня в лицо, привыкли, что раз в месяц им странная девица отдает пачку «Беломора». Когда видят меня, ждут, дежурно протягивают ладонь...

Вот сегодня утром я все перевернула — нет пачки: ни в сумке, ни в карманах. Нет, я не могла ее скурить, я не курю, я просто ношу в кармане.

Нет нигде, всех в коммуналке расспросила, никто не видел и не помнит. Дядя Юра — сосед мне свою принес, а мне не надо, мне надо ту, которая для папы, неразменная.

Глупость, скажете? Глупость, согласна. Но это мой кусочек дома, который далеко. Это мой медный гвоздик из родной стены, крохотулечный кусочек родины здесь, на чужбине.

Я металась по своей комнате, а надо было бежать, звали, искали меня в городе, звонили и требовали, чтобы я пришла. Работа — дела и так далее... А я не могла выйти... Я ведь без нее, как рыцарь без доспехов, я как без кожи...

И, наконец, махнула рукой, ну, видимо, так надо. Высшие силы решили так, зачем-то, почему-то. Неизвестно почему.

И вдруг папа позвонил. Из родного города, из другого мира.

Счастье будет всегда-всегда

Папа спросил строго:

— У тебя что-то случилось? Я уснуть не могу. Ты мне снишься, ты все мечешься, ищешь что-то. И карманы твои пустые.

— Нет, папа,— ответила я.— У меня все в порядке, только вот пачка пропала, «Беломора», которая тебе всегда, ты ведь знаешь.

— Ничего страшного,— ответил он.— Главное, что я знаю...

— Ага! Тогда я пойду?

— Иди, под ноги смотри, и прошу тебя очень, не тусуйся со всякой шушерой, типа твоего Костика...

И снова поругались!

Все-таки мы чужие люди... Не понимаем друг друга...

И для меня начался день. И был он легким и самым счастливым. Я ведь рыцарь, чьи доспехи никогда не заржавеют и не пропадут, ведь, даже если я потеряла эту чертову пачку, неважно — главное, что папа всегда знает.

Про дядю...

Вспоминается разное. Вот был у меня дядя Марат (цирковой артист), помер лет пять назад, редчайший бабник. Такой бабник, что если открыть энциклопедию на слове «бабник», то там можно увидеть его фотографию.

Нет, не красавец! У нас в роду с эффектной внешностью как-то грустно, очень грустно. Ну, такой он был, как бы помягче сказать... не то чтобы не красивый, но вот было в нем что-то такое...

Он, если по правде говорить, темпераментный был мужик, и в окна лазил, и цветами подъезды заваливал, и шампанского ванны устраивал. И цыганский хор под окнами, и все такое. Женщины любили его. Вешались на него, гроздьями.

Детей у него было немерено, и каждый карапуз — самый любимый.

В цирке работал, в джигитовке, на конях делал смертельные трюки. Без страховки. Легкий был человек, веселый, анекдотов знал море. Все к нему тянулись. Все его любили. Бывают такие люди-праздники, с ними и версту на морозе, без куска хлеба — как радость.

Хохотал он так, что просто стены тряслись, фокусы показывал, часов не носил, в зеркало не глядел, морщин не считал. Дарил щедро, никому не мстил.

Только грустил он порой, а чего грустил, никогда не скажет. Ты ему: «Дядя, чего ты?» А он отмахнется да нальет всем вокруг вина.

Учил меня пить вино и ценить его. Говорил, что вино — лучший собеседник для человека... если внимательно прислушиваться к себе после глотка.

А еще у него была коробка — магнитофонные записи. Там голоса разных людей, с кем судьба свела. Песни какие-то, чей-то смех.

И другая коробка пыльная, где — фотографии. Дядя сам голоса записывал и людей фотографировал. И самое важное, самое ценное из прошлого, уголок какого-то разорванного письма. Там строчка была, помню наизусть: «Посмотри на меня, я буду сидеть в пятом ряду, в красном платье! Я же приехала! Ты меня правда ждал?»

Я часто спрашивала, что это? От кого это? Откуда? Дядя говорил, что это главное, самое главное в его жизни. И больше ничего. Никаких подробностей.

А когда мама болела и лежала в больнице, а папа в это время опять оказался в местах не столь отдаленных, дядя забрал меня к себе, в цирковую общагу. Там открылось и поразило меня, что быт у дяди неустроенный, и живет он холостячки, и не так молод, как мне кажется, и что на самом деле он грустный, стареющий, лысеющий человек. И анекдоты у него старенькие, и он всем рассказывает одно и то же, крутится в узком репертуаре, и зубы у него вставные.

Человек-праздник растворился в воздухе, распался в прах. Дед Мороз умер.

И, к сожалению, были запои, дядя пил так много, что даже из цирковой общаги его выперли за аморалку. Это все равно как если бы самогонщики перестали с вами общаться, потому что вы, пардон, пьяница.

И нас вышвырнули. Идти оказалось некуда. Бабы все заняты (работа, замужем, новый любовник, уезжаю в командировку, и как ты смел, после стольких лет вдруг

свалиться как не знаю что на мою голову...), и никто из них не хотел видеть его с ребенком.

Верные друзья — цирковые оркестранты — помогли. Мы жили втайне от начальства (которое, разумеется, все знало, но делало вид, что ни сном ни духом) в оркестровом гнезде.

Там спали, ели, чистили зубы, готовили еду с кипяильником, я делала уроки, перед сном играли в морской бой, стучали в тарелки и треугольники. Носили музыкантам ноты, перелистывали их, старались не высовываться во время представлений.

Не помню, сколько мы там жили, может, месяц, может, два.

Очень скоро научились мыть голову в раковине и сушить ее как феном сушилкой для рук, засыпать под лобой грохот, и как-то мы прижились.

Впрочем, жизнь тогда казалась бредовым сном, возвращаешься из школы домой, а дома — цирк, в прямом смысле, круглыми сутками. То репетиции, то представления.

Кончилось все тем, что дядю простили. Он вернулся в джигитовку, в общагу. Бабы тоже стали проситься назад, — ну прости меня, прости, ну чего ты, ты же добрый, ты всегда прощаешь... Мама вылечилась, и ее выписали, и она забрала меня.

А я решила не выдавать его тайны, чтобы он для всех оставался человеком-праздником. Это у вас Дед Мороз умер, а у нас в квартире — газ! И поэтому я радостно смеялась его шуткам и байкам, которые за жизнь в оркестровой яме успела выучить настолько хорошо, что могла сама исполнять на бис. Я кричала, как здорово мы жили все это время с дядей. И врала родителям, какой он любимый и прекрасный. (А может, и не врала?)

Дядя молчал и улыбался виновато.

Мама, вернувшись из больницы, накрыла стол, и мы сели угощаться. Но дяди не было, он вышел во двор, вроде как за квасом. Нет и нет его... Наконец мама послала меня за ним. Выхожу, а он стоит и курит нервно, и слеза на щеке.

Дома не построил, деревья не посадил, да и дети разбрелись по всему свету, отца толком не знают...

Он стоял и курил, а я стояла за ним и не понимала, что делать...

Действительно что?

Когда он умер (а это было ранней весной, земля еще мерзлая), очень много народа пришло... Женщины и дети его, и музыканты те, и старенькие цирковые артисты — все друзья его. Женщины плакали, дети спрашивали, где папа.

Музыканты курили, артисты курили, женщины курили, мы курили, дети просились по-маленькому.

Могильщики копали. А потом оказалось, что закопали не там, на чужом участке. А наш — совсем другой. Перепутали с однофамильцем. Ошибка вышла. Могильщики потребовали еще денег. Чтобы не спорить, не торговаться — вроде и не время и не место,— пришлось дать, сколько просили.

А скандал все равно завязался. Там, где деньги, там всегда...

Мама плакала: даже уйти по-хорошему не ушел! Вечно надо шутки свои шутить!

Вечером я зашла в его дом поискать коробку с записями, нашла только кучу пепла, голоса были уничтожены. Сам ли сжег, или случайно вышло, не знаю.

Обрывок того письма, самого главного, про красное платье сохранился, он у меня до сих пор есть,

Жанар Кусаинова

только я никому его и никогда не покажу. Пусть ничьи глаза не видят эти строчки, если глаза моего дяди не видят их...

И неважно все это — про дом, дерево и сына...

Он был собой. Это самое главное. Он все-таки был праздником. И дом его был домом, даже если это не дом вовсе, скажете, а цирк!

1989

Вот бы сбежать в Алма-Ату 1989 года. Самый счастливый год в моей жизни, самое счастливое место моей жизни.

Да и остаться там навсегда.

Особенно нравился вечер, когда был концерт группы «Кино». И когда Цой заходил в наш цирк и общался с Марусей, дядиной кобылой.

Еще хочу посидеть в блинной у парка, не помню, как называлась. Там работала тетя Танк, в миру Ангелина Ардовна, она часто была подшофе.

Однажды на спор накрыла на своей груди «полянку»: салаты, фужеры, вино и мороженое в металлических чашках.

Да, это была самая огромная грудь в моей жизни.

Ангелина как-то поспорила с Нюркой Рыжей, высокой бабенцией, бывшей проституткой (она, кстати, умела держать на носу лампочку, ставила себе на нос, и та мгновенно загоралась, и не гасла, и не падала). У Нюрки не получилось полностью накрыть полянку. Салатики не поместились.

Груды торчали во все стороны. Упругие, как молодые поросятки. Такие же теплые и розовые.

А весь этот спор, вся эта грудная дуэль была из-за местного сердцееда, одноглазого Виктора Борисыча, бывшего летчика, который крутил то с одной, то с дру-

гой. И никак не мог определиться. Все смотрели на дуэль и восхищались. Страсти кипели.

И я тоже смотрела и восхищалась. Мне было десять лет.

А мужчины цокали языками, мол, какие красавицы. Это была единственная грудная дуэль в моей жизни.

А еще однажды нам с дядей Маратом пришлось ночевать в зоопарке. (Это был очередной случай, когда дядю выгнали из циркового общежития за пьянку и меня вместе с ним.)

И вот в ту ночь слону и слонихе захотелось любви.

Это как если бы два грузовика приласкали друг друга. Ну, или две горы...

Столько нежности и страсти я никогда больше не видела.

У слонов после любви были огромные влажные глаза, они сияли, они светились.

И голоса у них были сначала трубные, а потом бархатные. Слоны шептались, если про слонов можно так сказать — «шептались».

Гора ласкала гору теплым хоботом, гладила по уставшему хребту. А вокруг сырая осень и скоро зима.

А еще помню сумасшедшую девушку, бывшую манекенщицу, с обожженным лицом (месть какого-то ревнивца).

Ранними утрами в течение всего года она голая купалась в озере, недалеко от космостанции. Волосы ее текли по телу, золотые и тонкие.

Она плыла в ледяной воде и пела...

И зимой, и летом плыла и пела...

Где жила, не понимаю, появлялась из воздуха, а потом исчезала в воздух.

Аквалангисты падали в обморок, встречая ее на глубине.

А еще, в тот же год, у нас помирала княжна Давлиани (кажется, так ее фамилия, мы несколько месяцев жили у нее). Она была старше самой революции.

Она в то время несчастно и безответно любила сантехника Федьку, того самого, который организовывал в Алма-Ате сборища уфологов. Искал контакты с инопланетным разумом, крутил какой-то агрегат и все ждал, когда же ответят.

И вот так и получалось, сантехник не звонил княжне, инопланетяне не звонили сантехнику.

У княжны падало давление, повышались сахара, она принималась помирать. А помирала она настолько скучно, нудно и убийственно утомительно, что мы с дядей сами были готовы полюбить ее вместо сантехника, лишь бы она перестала умирать.

Но нашей любви она не хотела. И продолжала заламывать руки и бледно глядеть в окно.

— Дядя, я застрелюсь, если она не прекратит,— шепнула я дяде.

И тогда он стал звонить княжне и молчать в трубку. А потом, слушая удивленную княжну, сетовал, мол, сантехник все не может решиться, он волнуется, он не находит слов, он как трепетная лань. Да, такая сантехническая, уфологическая трепетная лань.

Княжна была удовлетворена, трогательное молчание влюбленного сантехника утешило ее, и она перестала умирать и еще дней тридцать не делала этого.

А однажды дядя напился и перепутал. И вместо княжны набрал номер Федькиного агрегата. Федька обрадовался: ура! Марсиане!

Федька стал нести какую-то торжественную чушь: вас приветствует гражданин СССР, вы звоните в Алма-Ату, у нас тут житница и здравница, мы социалистическая республика и прочее.

Дядя оторопело молчал в трубку, а потом ее повесил.

Ну а что он мог сказать на такое?

Федька потом радостно кричал на всех перекрестках, что ему, наконец, ДА, позвонили!

Он потом ждал звонков, как дети Снегурочку с Дедом Морозом.

А когда инопланетяне не звонили, Федька пил и болел. А когда он пил и болел, княжна начинала умирать. Потому что любила его. А когда она умирала, я от тоски и скуки была камнями витрины в соседних магазинах, а дядя хватался за сердце, с ужасом представляя, что было бы, если бы меня поймали все-таки и уpekли бы в колонию.

А потом, надержавшись сердца, дядя, как подорванный, бросался к телефону и звонил то княжне, то Федьке, и телефонистка с почты думала, что мой опекун свихнулся, потому что он каждый божий день звонит куда-то и молчит.

А Федька, вместо того чтобы слушать космическое молчание дяди, все время что-то рассказывал — то о человечестве, то о цивилизации, то об удоях и яйценоскости. Он азбуку нам читал, потому что думал, что мы, инопланетяне, хотим выучить человеческий язык. (Ага, еще бы!)

А однажды он стал рассуждать о своих знакомых и сказал между делом, что мой дядя — бабник и пьяница горчайший, и что его цирковые достижения — полная мурья.

И вот тогда дядя бросил трубку и перестал звонить.

И мы стремительно ушли от княжны.

Княжна некоторое время поумирала и потом влюбилась в энтомолога. И собирала с ним всяких жуков, жуки ели княжну, она была вся покусанная, но счастливая.

Счастье будет всегда-всегда

А Федька поныл, попил, но вскоре на него снизошло, и он открыл в себе дар общаться с духами умерших. Поселился на кладбище и доставал покойников своими торжественными речами. Но, видимо, он довел и их, потому что однажды ночью он сбежал оттуда, весь в синяках и ссадинах.

Мистики в Алма-Ате долго еще говорили об этом случае.

А сторож кладбищенский завел себе новую метлу, потому что прежнюю он сломал об Федьку, когда выгонял его с обиталища для усопших. Но говорить про это было нельзя, потому что мистики и Федька обижались и кричали, что это чушь! Что контакт с потусторонним миром все-таки был установлен! И все такое в таком духе.

Там еще много чего было в моем любимом 1989-м.

И много еще чего там остается.

Вот только меня там нет.

А жаль.

Вот бы сбежать туда, навсегда!